

Анна Лихтикман

Гран-при премии
Рукопись года



ПОЕЗД ПИЩЕТ ПАРОХОДУ

Анна Лихтикман

Поезд пишет пароходу

Серия «Люди, которые всегда со мной»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28526663

Поезд пишет пароходу / Анна Лихтикман.: АСТ; Москва; 2018

ISBN 978-5-17-104913-3

Аннотация

Наша жизнь кое-как защищена правовой и медицинской системами, а вот наша история беззащитна. Любой может пересказать ее, исказив до неузнаваемости. Ни одна страховая фирма не возьмется застраховать воспоминание, а ведь иногда это единственный наш капитал.

Герои этой книги снимают кино, изучают веб-дизайн или работают в рекламе, но в какой-то момент оказываются в пустоте, иногда – по собственному выбору.

В книге пересекаются пути тридцатилетнего писателя, пожилой дамы, студентки и известного кинорежиссера. Каждый из них одинок, каждый хочет узнать чужую тайну, но при этом сохранить свою.

Содержание

Стелла. Это что-то новенькое	8
Мага. Будни агента Киви	21
Даниэль. Лотерея	28
Стелла. Как использовать призрака с максимальной пользой	36
Мага. Будни агента Киви	42
Даниэль. Кит и Конусы	47
Стелла. «Сольферино»	60
Даниэль. Дверь – это уже мебель	66
Синим на синем	71
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Анна Лихтикман

Поезд пишет пароходу

Моим родителям и брату, с любовью

Серия «Люди, которые всегда со мной»

Дизайн обложки: *Марина Акинина*

В оформлении книги и на обложке использованы иллюстрации автора



Этот февраль солнечный. Каждый день шелестит и слепит, дразня периферийное зрение, словно комок магнито-

фонной ленты, зацепившейся за куст. По утрам я выбираюсь из своей конуры и брожу по городу, взбудораженный и счастливый. Я вдыхаю запахи кофе и омлета из чужих окон, запахи прирученной оранжерейной земли из магазина цветов и еще чего-то: наивного, милого – так пахнет на ладони оранжевая метка божьей коровки. Но я всегда упускаю час, когда день надламывается и я внезапно оказываюсь в совсем другом городе: голодном, спешащем, неприятно, по-муравьиному, деловитом. Мне следовало бы заранее позаботиться об убежище. Найти какое-нибудь тихое кафе и пересидеть всю эту суету там. Но, похоже, в городе таких нет. Из открытых дверей одинаково пахнет разогретой едой и доносится звяканье посуды, тонущее в такой же, как еда, многократно разогретой музыке. Иногда я наконец нахожу, что ищу, – тишину и белоснежную флотилию столиков в углу. Но когда уже прикидываю, где бы там устроиться, то встречаюсь взглядом с хозяйкой, и столько в этом взгляде любопытства, жадного и простого, как рев бегемота, что я, не замедляя шага, прохожу мимо. Постепенно во мне накапливается усталость, которая к вечеру превращается в боль. Это боль бездомности, и каморка, в которую я возвращаюсь по вечерам, ничем тут не помогает. Теперь, когда у меня нет ни мебели, ни утвари, я остро чувствую вес того, что ношу в себе, так бывает, когда зависишь на полустанке с кучей вещей.

Как-то раз, устав бродить, я сел за столик в маленькой

пищерши, пододвинул к себе картонку из-под пищи, неожиданно чистую и приятно-твердую, и написал: «Начинаю эту историю не без тайного трепета, ибо...»

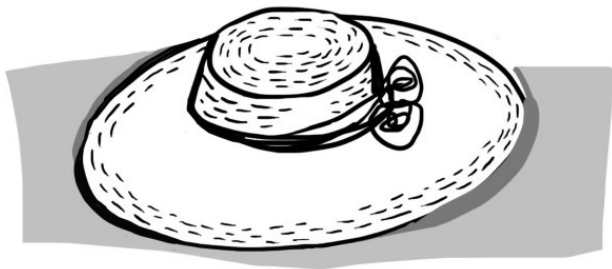
Я всегда любил начала. Не припомню ни одного бездарного. Возможно, начало – это детство книги, время, когда феи приносят свои дары к изголовью колыбели. Но все-таки какую смелость нужно иметь, чтобы выплывать в открытые воды романа. Я почти физически ощутил это парокходное движение – неуклюжий мучительный разворот в крохотной бухте. Кажется, стоит лишь выбраться туда, на простор, и дальше все пойдет само собой.

Я вновь вышел на улицу и направился в магазин канцтоваров. Купить ежедневник и писать туда? Это защитило бы меня от любопытных взглядов. Сидит себе человек, планирует свой день. Я раскрыл несколько – наугад, но все они были расчерчены с такой угодливой агрессивностью, словно хотели сказать: «Седьмого января у тебя десять дел и восьмого десять, а вот девятого – выходной, – теперь тебе полагается отдыхать, расслабься уж так и быть, бедолага». Если бы я и принялся записывать туда свои мысли, это выглядело бы как война карикатурного мятежного духа с таким же карикатурным писчебумажным диктатом. Не удержавшись, я взял в руки и прелестный молескин, обтянутый голубым шелком, на котором лениво извивались викторианские сорняки. Такой мне не подходил, но как приятно было провести пальцем по золотому обрезу. Я обошел

уже все полки, все еще не понимая, что ищу. Нужно было либо уходить ни с чем, либо покупать обыкновенную ученическую тетрадку и смириться с мыслью, что писать мне будет так же тяжело и неудобно, как неудобно делать все остальное: разносить новую обувь, влезать в слипшиеся, пересохшие на бельевой веревке джинсы – так же неудобно, как жить. И тут я заметил бумажные блоки – листы, попросту склеенные по корешку, но не имеющие обложки. Вот они мне подходили. Отсутствие обложки как-то успокаивало: в обложке слишком много торжественности. Некоторые из блоков были цветными. Я перебирал их, пока мне не попался синий. Это довольно нелепая штука – темно-синяя бумага для письма. Но не более нелепая, чем взрослый человек, озабоченный тем, чтобы кто-то не заглянул ему через плечо и не прочел его опусы. Я направился к кассе. «А ручку вам какую?» – спросил продавец. Я ожидал этого вопроса и уже заранее ликовал, зная ответ: «Ручку? Конечно же, темно-синюю!»

11/02/2010

Стелла. Это что-то новенькое



Я отодвигаю штору и прохожу в темноту зала. Сильвия сидит на сцене с голой грудью, а Ицхак Зобак водит по ее левой груди указкой. От неожиданности я роняю палку, но, к счастью, она падает на мягкое покрытие, и никто из зрителей не оборачивается. Я прислоняюсь к стене и начинаю думать. Возможно ли, что за те полдня, которые я провела в своей комнате, мир мог измениться до неузнаваемости? Наверняка произошли какие-то неизвестные только мне события планетарного масштаба, благодаря которым человечество сделало несколько гигантских шагов к бесстыдству. Я вполне могу себе это представить. Я могу представить себе все что угодно, но вовсе не потому, что за свою жизнь успела так уж много повидать. «У тебя старые глаза», – говорила мне мама, когда я была еще маленькой девочкой. И вот сейчас мои

старые глаза видят что-то невообразимое. Может быть, пока моего появления никто не заметил, стоит отрулить обратно, в коридор, а затем запереться у себя и послушать новости? Но я решаю дожидаться конца лекции. Зобак кладет руку Сильвии на грудь и произносит: «Вот так, не спеша, словно пересыпаешь песок. Но в случаях, когда мышечная ткань плотная, этот метод не годится, и больше подходят круговые движения, как я уже показал раньше». Затем он берет Сильвию за плечи и сдирает с нее кожу. Две увесистые груди вместе с кожей шлепаются Сильвии на колени и начинают сползать на пол. Она подхватывает муляж за лямки, встанет, стряхивая ниточки со свитера, и передает грудь Зобаку, словно тяжелый рюкзак. «Поможешь потом донести это до машины? Я даже в армии таких тяжестей не таскал», – говорит он ей, картинно сгибаясь под весом «рюкзака». В зале поощрительно, но жидковато хихикают – всем понятно, что сейчас прозвучала одна из постоянных шуточек доктора Зобака, домашняя заготовка, которую он, как и грязноватый муляж, таскает по своим оздоровительным лекциям.

Я пока не пропустила ни одной, но хожу сюда вовсе не ради его наставлений и глупых шуточек. Этот небольшой зрительный зал для меня – полигон. Я шаг за шагом отвоевываю территорию, которая еще недавно была для меня недоступной.

Зобак выступает здесь каждую неделю, видимо, пансионат закупил у него оптом целый цикл. Иногда ему по дружбе

ассистирует Сарит, здешний психолог, но чаще, как сегодня, медсестра Сильвия. На своей первой лекции доктор заявил, что будет считать свою работу успешной, если каждый из нас научится спокойно произносить слова: «какать», «пи`сать», «сношение» и «рак». Он сказал, что попытка заменить эти слова другими приводит к отрыву от внутренней жизни тела. «А можно, я буду говорить „трахаться“?» – спросил его тогда Лиор Штуль. Его за глаза называют «агентом». Он якобы служил когда-то в «Моссаде». Правда это или нет, я не знаю. Факт, что ходит он гогаем, и рядом с ним всегда какая-нибудь дамочка. Иногда даже не одна. Сейчас он тоже сидит в окружении «маргариток» – так я называю про себя его подружек. Несколько седых голов и одна рыжеватая: это его компания, они каждую ночь играют в столовой в префепанс. Но доктора Зобака тогда было не так просто смутить: «Нет, – сказал он, – „трахаться“ не подходит. Слово не должно нести агрессивной коннотации». Лиор пытался еще что-то возразить, но куда ему было до доктора, тот словно включил дополнительную мощность (видимо, он включал ее всегда, когда бравые типы вроде Лиора ему возражали). Теперь он говорил намного громче: «Потому что какать, писать и болеть раком – это нормально, – вещал он с интонациями пророка, передающего народу откровение. – Нормально, милые вы мои!»

Невероятно забавной была та первая лекция. Я едва удержалась, чтобы не описать ее всю Голди, но получилось бы

чересчур громоздко и не по делу.

Здесь принято слегка презирать Зобака: говорить, что его лекции слишком популистские, и что посещать их стоит исключительно для развлечения. Но некоторые при этом добавляют, что он какой-никакой, а дипломированный врач, так что можно, в конце концов, и послушать, что он там говорит, если игнорировать тупые шутки. Зобак же упорно продолжает так шутить, потому что видит перед собой полные залы – замкнутый круг. Впрочем, даже здешняя директриса Мирьям сказала недавно при мне: «Он не на должном уровне, не для нашей публики, хотя, с другой стороны...» Она так и не договорила, что «с другой стороны», но я, кажется, поняла. В «Золотом чемпионе» живут обеспеченные и образованные люди, но, пока мы здесь ставим любительские спектакли и совершенствуемся в бридже, откуда-то, с другой стороны, к нам подступает простота. Телу, решившему выжить любой ценой, плевать на красоту формулировок, оно презирает эвфемизмы. Уродливая простота старости и смерти – она где-то близко, как река, что чинно протекает сквозь город, но в любой момент может вырваться из гранитных берегов и затопить все. Нет больше ленивых изгибов, сообщающих имперскую величавость городским видам. Теперь это река-погромщик, и в ее мутных потоках всплывает на шутовском троне атаман Альцгеймер в слюнявчике, залитом манной кашей, и с треснутым моноклем в глазнице. Врезаются перины, выкидываются на всеобщее обозрение многолет-

ние страхи и семейные тайны; хрупкие, как фарфор, хрустят под ногами домашние прозвища... Говорят, бывшие солдаты, побывавшие в серьезных переделках, спустя десятилетия узнают друг друга по взгляду, описать который невозможно. Таким обмениваются иногда и здесь, в «Чемпионе»: «Хватит ли у тебя сил выстоять со мной, подпирая ворота, когда с той, другой стороны, в них будет ломиться пьяная банда Простоты?»

Но, кажется, я слишком драматизирую. Зобак всего лишь зашибает деньгу, когда в обнимку с боевой подругой – резиновой грудью – разъезжает по таким местам, как наш «Чемпион». Наконец он сходит со сцены. «Постойте, не расходитесь, – кричат в зал Мирьям и Сарит, – мы должны обсудить несколько организационных вопросов».

В своем письме Голди я подробно описала здешний актовый зал, ведь культурные мероприятия – важнейшая составляющая жизни пожилых людей. Разумеется, там упомянуты ступеньки, нарушающие элементарные представления о безопасности. Когда свет в зрительном зале гаснет, их почти не видно, и запросто можно споткнуться.

Я прохожу к середине зала и присаживаюсь с краю. Прямо передо мной сидит Цви Аврумкин в своей шляпе. Она из великолепного фетра сложного зеленого цвета, и в комплекте с розовыми ушами (сияюще чистыми, покрытыми нежным девичьим пухом) вызывает у меня неожиданный тактильный аппетит. (Так, бывает, хочется потрогать мох или снег.) По

правде говоря, мне тяжело касаться предметов, находящихся вне моей комнаты. Я преодолеваю себя даже перед тем, как сесть на стул в столовой, обитый чуть белесым, как обложенный язык, красным плюшем. Так что шляпа Цви – приятное исключение из правил. Я вдруг замечаю, что эта шляпа начинает подрагивать, как петушиный гребешок. Тем временем Мирьям говорит что-то про ремонт бассейна, новое расписание кружков и борьбу с вредной плесенью в комнатах. Едва заведующая замолкает, как шляпа Цви уплывает вверх – он встает.

– Я хотел бы поднять здесь один очень важный вопрос.

Несколько серых маргариток в переднем ряду переглядываются. Мирьям и Сарит приветливо кивают Цви, но их глаза затуманиваются, словно затягиваются тончайшей пленкой, по которой так легко узнать врачей и соцработников. Возможно, где-то, в глубине их тела, работает особая железа, которая выбрасывает гормон гериатрического терпения. Сейчас оно им понадобится. По правде говоря, Цви стоило бы перейти отсюда в настоящий дом престарелых, где за ним бы присматривали. На этой неделе он уже дважды возвращался в пансионат на полицейской машине, потому что забывал дорогу. Есть у него и другие странности, к счастью, более безобидные, чем бродяжничество: он создает футуристические натюрморты из еды. Что ни день, уборщица со скорбным видом выносит из его комнаты башню из дюжины йогуртов, на вершине которой громоздится ком перепутан-

ных спагетти, а рядом бутылка молока, из которой торчит морковка с нанизанными на нее ломтиками селедки.

Цви наконец встает, дожидается, пока станет тихо, и произносит:

– Я должен рассказать всем... – он слегка задыхается, у него одышка. – Я должен сообщить, что здесь происходит нехорошее.

– Вы о чем это? – спрашивает директриса Мирьям.

– У меня постоянно пропадают вещи!

– Расскажите, что у вас пропало.

– Фотографии у меня пропали! Такого еще не было, это что-то новенькое, да!

Пленка, туманящая взгляды Мирьям и Сарит, становится еще заметней. Видимо, они представляют себе, как Аврумкин крошит фотографии в недоеденный суп или выкидывает их из окна.

– Но здание охраняется круглые сутки, – говорит Сарит. – Скорее всего, ваши фотографии найдутся, Цви. Я вот иногда – не поверите – все утро ищу очки.

Про очки она говорит с особым выражением доверительной радушной простоты. Такие фразы приберегают для финала политики, когда встречаются с народом. Но Цви не так-то легко утихомирить, к тому же сейчас он выглядит на удивление трезво, словно никогда в жизни не выкладывал из еды абсурдные натюрморты. Он продолжает настаивать на своем.

– Происходит нехорошее... Безобразие...

– В ближайшие месяцы все корпуса «Чемпиона» будут оборудованы камерами слежения в целях безопасности, – вступает Мирьям.

Известие о камерах в коридорах веселит компанию преферансистов с Лиором во главе. Они толкают друг друга в бок, хихикают и вспоминают какие-то перебежки по коридору. Бедного Цви уже никто не слушает, и он опускается на место. Конец спектакля.

В театре зрители всегда разделяются на две категории: одни едва могут дождаться, когда прозвучит финальная реплика, и кидаются к выходу, словно их здесь силой удерживали. Другие – наоборот: хлопают до посинения и лезут на сцену. Эти уверены, что леди Макбет зачихнет без их упревшего в целлофане букета и уродливой чеканки.

Еще недавно я тихонько выходила из зала до того, как зажгли свет, но вовсе не потому, что спешила. Весь этот концертный ритуал, начиная от неспешного фланирования по фойе и заканчивая прощальными аплодисментами, был для меня невыносим. Но еженедельные упражнения помогли. Теперь я ничем не отличаюсь от обычного зрителя, который сидит на своем месте и прикидывает, стоит ли ему пробираться к выходу или подождать, пока толпа рассосется.

Но сегодня мне придется карабкаться на сцену, словно это я ретивый зритель с букетом. Я хочу сообщить директрисе, что уезжаю, и назначить время приема в бухгалтерии, чтобы утрясти дела с выпиской из пансионата.

Мирьям и Сарит окружены плотным кольцом.

– Когда начинается курс лепки?

– В моей комнате протекает труба.

– Весь балкон мне загадили ее голуби.

– Нужны микрофоны для проведения юбилея.

Сарит и Мирьям держат круговую оборону и пока неплохо справляются. Вот к ним протискивается Ципора – моя знакомая, которая давно стала бы подругой, подпусти я ее чуть поближе. Она, похоже, прибежала сюда прямо из торгового центра: на ее руки нанизано по несколько пакетов из модных бутиков. Сегодня же вечером она побегит все менять, продавцы уже знают ее как облупленную. Ципора меняет все, что позволено. Мне рассказали, что она постоянно переезжает из квартиры в квартиру, а когда это невозможно – меняет мебель. Жилые единицы здесь освобождаются не то чтобы очень часто, все-таки «Чемпион» не дом престарелых, а пансион для пожилых. При этом освобождение помещений бывает двух видов: простое и «печальное». Простое – это когда кто-то уезжает жить в другое место, а печальное – это понятно что. Разумеется, простое освобождение квартиры очень ценится. Для тех, кто недоволен своей, это возможность что-то изменить, и тут, разумеется, Ципора в первых рядах – она всегда недовольна. Сейчас она утверждает, что птицы мешают ей спать и непрерывно гадят, и что ей грозит голубиное бешенство, если она немедленно не переедет в крайнюю квартиру в левом крыле. «Нет, – отвечает ей Силь-

вия, — квартира уже занята, туда на днях вселяется новый жилец». «У нас будет новенький! «— вторит ей Сарит, и лица у обеих вдруг делаются нежными и загадочными. Это выражение может означать только одно: в пансионате поселится кто-то умеренно-знаменитый (настоящие звезды устраиваются где-то в других местах). «Кто же это, кто?» — спрашивают все. «Кто-то из кино, как и Стелла», — говорит вдруг Мирьям. Все смотрят на меня. Смотрят, потому что Цви у нас Моряк, Лиор — Агент, а я... Я — Актриса, — хотя никто не спрашивал меня напрямую, где и как я играла, как, впрочем, не спрашивают Моряка, на каких судах он ходил, и Агента, в каких странах он шпионил. Кто же это? — Теперь уже и мне интересно. Поломавшись для усиления эффекта, Мирьям наконец произносит: «Это Гидон Кит».

Похоже, мне не стоит торопиться съезжать. В бухгалтерию я, пожалуй, пойду, но только для того, чтобы оплатить еще месяц пребывания в пансионате. И надо бы уточнить часы приема у Сарит. У меня как раз закончилось снотворное.

— Вы же, наверное, с ним знакомы, Стелла? — спрашивает Мирьям. — Все снова смотрят на меня.

— Да, мы изредка пересекались. — Пусть понимают это как хотят, формулировка достаточно туманна.

— Так вот, он решил пожить в Иерусалиме.

Это «пожить в Иерусалиме» Мирьям произносит нарочито небрежно, словно торопливо латает небольшую брешь. Все, кто это слышит сейчас, возможно, думают об одном и

том же: Кит для нашего заведения слишком крупная рыба. Видимо, последние два развода здорово опустошили его кошелек. Я чувствую, что должна что-то сказать, и наконец придумываю что. «Судьба», – говорю я значительно и при этом понимающе киваю. Это звучит нормально, здесь у нас часто произносят слово «судьба».

...

«Золотые холмы», «Золотые дни», «Золотая долина» – так обычно называют пансионаты для пожилых. Эти помпезные названия подкреплены еще и жуткими интерьерами. Причина здесь не в отсутствии вкуса. Пуфы и фальшивая бронза – то же самое, что и розово-перламутровые туфли сутенера: это указатели. Не увидь вы их, засомневались бы, стоит ли поселяться здесь. Плывающим по реке старости необходимо видеть на берегах позолоченные вазы – так они знают, что не сбились с курса.

Холл «Золотого чемпиона» – не исключение. Ячеистый коричневый потолок и мраморный пол (красновато-коричневый, похожий на срез окорока), словно пытаются отменить безумную и смелую архитектуру корпусов, которые и сейчас смотрятся слишком современно. Эти здания похожи на клочья смятой бумаги, брошенные разбушевавшимся великаном на самое дно долины. Вокруг корпусов – парк пансионата с аккуратными, вымощенными белым камнем дорожками. Парк ухожен лишь в центральной части, а к краям постепенно переходит в дикие пустоши, окруженные свалка-

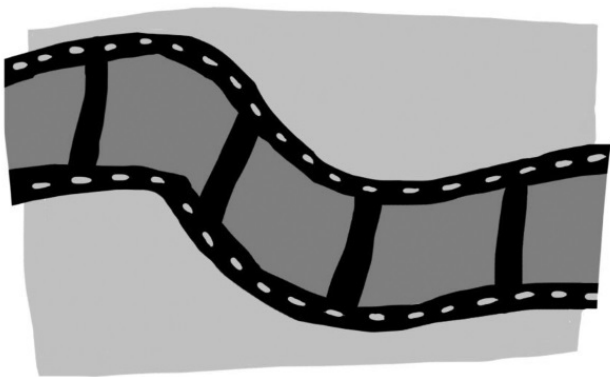
ми строительного хлама и старыми ступенчатыми террасами, засаженными оливами.

Мне повезло. В моей квартирке нет особых архитектурных выбрыков. Только скошенный потолок в ванной да окна в виде сот, к которым, впрочем, быстро привыкаешь. Окно было первым, что бросилось в глаза, когда мне отперли мою будущую комнату. Прямо под ним был разбит палисадник, сбоку виднелся синий забор корта, а над всем этим парил Иерусалим, сияющий, как рафинад, рассыпанный по холмам. Посреди пустой комнаты в пыльном солнечном квадрате стоял мраморный пюпитр. Почему-то именно этот, неожиданный здесь, предмет вызвал во мне прилив острого счастья. Позже пюпитр забрали, оказалось, он был сломан, и завхоз его склеил, а пустую комнату использовал, чтобы никто не двигал его, пока не высохнет клей.

Я вселялась сюда лишь с парой чемоданов и потому ожидала неприятных расспросов. Но оказалось, что именно так выглядит типичный здешний новенький. Здесь часто селятся вдовцы и вдовы, ошарашенные неожиданной пустотой, образовавшейся вокруг. Не в силах разобрать вещи умершего, они попросту не находят другого способа отделить себя от застывшей жизни в опустевшей квартире, кроме как собрать самое необходимое и перебраться сюда, в «Чемпион», в такую же, как моя, светлую пустую комнату. Так космонавты отдаляются от космической станции на крохотном шаттле. Старая квартира – семейное гнездо – первое время оста-

ется запертой и нетронутой. Там хранится мебель, ковры и фотографии. Потом вещи заталкиваются в одну из комнат, в то время как остальные две – сдаются. Потом оказывается, что сдавать только две комнаты – невыгодно. Вещи перевозятся на платный склад либо в пристройку в доме детей старика. Сколько времени нужно, чтобы космонавт почувствовал, что его дом уже не там, на станции, а здесь, в шаттле? – Возможно, не так уж и много.

Мага. Будни агента Киви



Агент Киви. Это прозвище появилось у нее лет в двенадцать. Оно, кажется, было из какого-то забытого фильма. Когда на бат-мицву ей подарили детскую энциклопедию, она первым делом нашла эту птицу и очень расстроилась. Она представляла себе тропическую изумрудную пташку: что-то вроде нектарницы или колибри, а оказалось, что киви – серый бесформенный комок и длинный клюв, который торчит обыденно и уныло, как вязальный крючок, из клубка серых ниток. Птица выглядела классическим неудачником. С тех пор она никогда не забывает ту птицу, и ей всякий раз приходится делать усилие и вспоминать, что она не агент Киви.

У нее красивое имя: Мага.

Ее отец, Гидон Кит, часто говорил, что ход мысли сценариста похож на ход мысли преступника. Автор – единственный, кто знает, куда ведут запутанные линии сюжета, он должен быть расчетлив и аккуратен и не оставлять следов.

– Чехов говорил о ружье, которое должно выстрелить в третьем акте, – вещал Кит, подбегая к доске и тут же отскакивая от нее. – Все помнят о ружье, которое висит на стене, но забывают о трости, которую герой берет с собой, когда выходит из дому.

(Отца тогда пригласили прочесть лекцию студентам, а в садике у Маги был карантин, и отец взял ее с собой. Ей тогда было лет пять или шесть.)

– Предположим, что в одной руке у героя плащ, а в другой – трость, – продолжал Кит. – Предположим, он встречает знакомого и приподнимает шляпу. Окей, но как он это делает, если обе руки заняты? – Отец делал паузу, и маленькая Мага, сидевшая в углу, ждала, пока смех докатится откуда-то с задних рядов, как невысокая, ровная волна.

– Итак, помним о заряженном ружье, но и о палке не забываем. Мелочи, детали – не расслабляемся, держим их в голове, иначе...

– Так значит, фильм – это преступление? – это спросил студент с красивой бородкой.

– Разумеется, фильм – преступление! Ты забрал у зрителя полтора часа его жизни. Если ты облажаешься, тебе этого не

простят.

Ее отец женился на матери лишь к сорока годам, и, когда он приходил за Магой в садик, а позже в школу, его принимали за молодого дедушку.

Когда она чуть подросла, они с отцом стали ходить в старый кинотеатр «Кипарис», которого давно уже не существует. Тогда, в 94-м, кинотеатр находился в старом здании с округлым, похожим на бульдожью морду, фасадом. Маге даже казалось, что иногда эта морда выглядела веселей, но чаще она была угрустной. Наверное, потому, что тогда решалась судьба кинотеатра. Отец считал, что засилье видео либо окончательно его угробит, либо, наоборот, сделает культовым местом. Но прошло несколько лет, и место стало вовсе не культовым, а совсем нехорошим. Там устроили не то игровой дом, не то бордель. В конце концов здание перестроили до неузнаваемости: вычистили труху, как гниль из больного зуба, и теперь там торговый центр. Но до этой перестройки, в годы, когда дом-бульдог еще не пустился на старости лет во все тяжкие, а просто стоял без дела, Мага изредка проходила мимо. Ее удивляло, что одна деталь от бывшего кинотеатра все же сохранилась: бархатная штора на боковой двери. Похоже, это была именно та штора, которая слегка задевала ее щеку, когда они с отцом выходили из зала после сеанса.

...

– Он совсем не заботится о тебе! Он водит тебя на взрослые фильмы, которые интересны ему самому! – говорила ма-

ма. Это было правдой. Родители теперь были в разводе, и они с отцом, встречаясь лишь по выходным, иногда шли в «Кипарис». Цунами видео уже затопило весь мир, шелестя пленками дешевых кассет, но здесь это никак не ощущалось. В «Кипарисе» показывали качественное широкоформатное кино.

Первые кадры... Они врываются в твою жизнь, как грабители. Они говорят громко и требовательно. Они раздражают. Ты сопротивляешься этой яркости, громкости, резкости, но почему-то не уходишь. А потом все исчезает. Остается лишь чужая история, которая теперь тебе интересна, и ты добровольно отдаешь все, что у тебя в карманах.

Когда фильм заканчивался, зрители выходили через боковую дверь. Это было несправедливо. Их тихонько выпускали сразу же на улицу – из бархатной коробочки кинозала прямо на тротуар, словно бедных родственников или попрошаек. Как ослеплял солнечный свет! Как резали уши автомобильные гудки! Они шли понурой колонной, почти не переговариваясь, и с каждым шагом фильм расплескивался – с этим ничего нельзя было поделать. Дойдя до угла здания, они вдруг замечали другую колонну. На входе в кинотеатр стояли веселые нарядные люди. Они собирались войти в фойе «Кипариса». Через несколько минут начнется новый сеанс, и все повторится. Веселая очередь с любопытством посматривала на выходящих, пытаясь по их лицам понять, хорош ли фильм, и те приосанивались. Они делали непрони-

цаемые лица. Они не хотели разбалтывать ничего. Они уже были сообщниками.

Когда она пошла изучать веб-дизайн, а вовсе не кино, как многие ожидали, отец ее похвалил, но что-то в его похвале ее уязвило. Непонятно было, рад ли он тому, что она идет по собственному пути, или тому, что теперь не должен за нее отвечать.

...

Денег, отложенных на ее учебу, хватало на университет и на оплату съемной квартирki, но на жизнь уже не оставалось ни шекеля. В первые годы она успела сменить пару работ: зимой устраивалась куда-нибудь официанткой, а на летних каникулах вела кружки в детском лагере в их же кампусе. Но вот на третьем курсе с зимней работой как-то разладилось. Она никак не могла войти в ритм. Подработки постоянно срывались.

В один из дней она шла по Яффо, поглядывая на двери кафе, где часто вывешивались объявления о поиске официанток, и неожиданно встретила Зива, старого друга отца. Зив был не похож на остальных отцовских друзей. Он не имел никакого отношения к богеме; в последние годы он заведовал одним из отделений полиции. Мага увидела, как сильно он изменился. Зив уже почти не отличался от стариков, сидящих в эти часы за столиками уличных ресторанчиков. Куртка и джинсы словно умышленно отстают от текущей моды на несколько тактов, в руке – сложенная газета.

Зив сообщил, что уже полгода как вышел на пенсию, жена со скуки выучилась на консультанта по фен-шую, но клиентов пока нет, и она взялась перестраивать их собственную квартиру.

– Сейчас там вскрыли пол. В моей комнате – Буря в пустыне,¹ вот я и сбегая. А ты чем занимаешься?

Мага рассказала, что ищет работу.

– Официанткой? Тебе это подходит?

Мага пожала плечами:

– Я и квартиры иногда убираю. Что я могу поделаться...
Нужны деньги.

– Но неужели...

Мага догадалась, что он хотел спросить: «Неужели отец не мог подыскать тебе работу получше?» Мага не разговаривала с отцом уже несколько лет, но не объяснять же все это Зиву. Впрочем, он и сам, кажется, откуда-то знал.

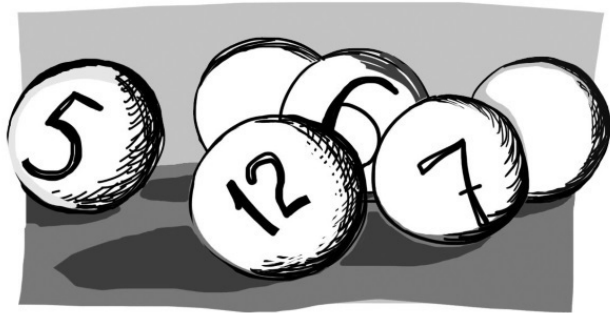
– А давай-ка я спрошу в одном учреждении? – сказал Зив. – Может, тебе и найдется работа преподавателя.

Мага с радостью согласилась, и они распрощались. Она стояла одна на широкой улице, плавно уходящей вверх, и смотрела, как квадратная фигура Зива удаляется. Вокруг

¹ Операция «Буря в пустыне» – часть войны в Персидском заливе 1990–1991 гг., операция, в ходе которой был освобожден Кувейт и разгромлена иракская армия.

были деревья и дома; на них словно навели резкость. Странный эффект, наблюдаемый в зимнем Иерусалиме, который так отчетливо виден, так бел и пуст, для того, кто оказался на этих улицах в одиночестве.

Даниэль. Лотерея



Полицейские продвигались вперед черной гроздью, словно сцепленные чем-то невидимым, и мне ничего не оставалось, кроме как сделать беззаботный вид и идти прямо на них. В городе было напряженно, ожидалось теракты, и наряды полиции дежурили на каждом углу, а я этого не учел. Выглядел я, конечно же, подозрительно. Я два дня не мылся, на лице – щетина, а на руке – синяк от капельницы, обведенный черной рамкой грязи, налипшей на остатках больничной клейкой ленты. Стоило полицейским попросить меня снять куртку... Да что там – им достаточно всего лишь увидеть мои зрачки, чтобы понять, что я их клиент. Пусть я и не террорист, но если они проверят данные и выяснят, при каких обстоятельствах я попал в больницу, то передадут ме-

ня соседнему отделу. Я шел, глядя себе под ноги, чтобы выражение пешей скуки на моем лице было более убедительным.

«Золотой чемпион», который я наметил себе целью, был уже недалеко. Я решил идти туда, потому что смутно помнил, что видел там не то павильоны, не то беседки, которые сошли бы мне сейчас для ночевки. Я приблизился к спуску в долину, где был расположен пансионат.

Вниз вел серпантин, огибавший террасы, на которых росли старые оливы. Наконец я ступил на дорожку пансионатского парка. Я не помнил, в какой его части располагались павильоны и сарайчики, которые когда-то здесь приметил. Пришлось просто идти наугад. Я шел быстро, ведь здесь уже можно было встретить охранника.

– Молодой человек! – Я замер, но сразу успокоился. Голос пожилой женщины, которая обращалась ко мне на русском, не нес никакой угрозы: наоборот – домашний, немного беспомощный, он был противоположным полюсом всего, чего я сейчас опасался. Я поднял глаза. Балкон, на котором стояла женщина, утопал в зелени, скрывшей всю остальную постройку, – похоже, это был банкетный зал – его я не заметил за зарослями. Теперь я увидел и железную лесенку, ведущую, видимо, на ресторанный кухню. Женщина с сигареткой стояла на первой площадке. Ее прическа напоминала свежестриженный газон, на который пролили оранжевую краску. Одета она была нарядно: в черную атласную рубашу с

китайской вышивкой на необъятном бюсте. Я стоял, не зная, что ответить, но, похоже, она и не ждала ответа. — Молодой человек, миленький, помогите нам. Тут буквально пара минут. Нам сюда, видите, ящик подвезли, а мне самой не дотащить.

Убегать не стоило. Я поднял ящик и понес по лесенке, стараясь двигаться так, чтобы куртка не распахивалась и скрывала замызганную футболку. Потом мы долго шли по узкому коридору. На спине у нее было вышито огромное павлинье перо, которое смотрело на меня как круглый глаз: недоуменно и недоверчиво, словно зная обо мне все. Но вот мы оказались в служебной проходной комнатке. В приоткрытую дверь виднелся банкетный зал, где, похоже, начинался праздник. За столиком, заваленным обрезками стеблей и целлофана и заставленным салатницами, сидела еще одна дама. У нее была такая же короткая стрижка, как и у первой, но похожая уже не на окрашенный, а на выжженный газон. Она плакала. Я поставил ящик и пошел было к двери, но Рыжий газон кивнула мне на пустой стул. Мне некуда было спешить, к тому же, в глубине души я считал, что человек, отделенный от всех, к кому он мог бы вернуться, заслуживает чудесного шанса, как минимум одного. Не стоит отбегать от двери, которая приоткрылась навстречу. Я сел. Рыжая тоже под села к столику боком, вздохнув, пододвинула к себе большое керамическое блюдо с фруктовым салатом и принялась есть, рассеянно подцепляя кусочки вилкой и по-

качивая ногой в бархатной туфельке.

– Я выкладываюсь! – вдруг произнесла Выжженный Газон голосом, гундосым от слез. – Я выкладываюсь, а они говорят, что я выделяюсь!

– Ну что вы, Миррочка! Кто же мог такое сказать! Мы же все видим, как вы жертвуете, и очень ценим, – сказала рыжая, печально разглядывая кусочек яблока на кончике вилки.

– Леночка, разве мне это надо? Только мне? Вот скажите, разве никто не знал, что реплики не написаны? Я ведь не напращивалась, они сами просили. Почему я должна за всеми бегать? А шторы? А эти ящики? Почему я должна обо всем сама?

– Вы совершенно правы, Миррочка, – утешала Рыжий Газон. – В следующий раз не будем собирать деньги и заказывать. Сами все сделаем. Вы ведь такой хороший человек, все мы с удовольствием. Хотите... – Она отодвинула салат и вдруг просияла: – Хотите, я для вас селедку приготовлю?

– А реплики? – плакала Выжженный газон. – Что теперь с репликами будет? Мы же вдвоем должны были вести лотерею, я и он. Вот же, я выучила. – Она достала из сумочки смятый лист. – Я вот тут говорю: «А знаете ли вы, что в переводе с итальянского слово „лото“ означает „судьба“?» А он отвечает: «Известно, что итальянцы немного суеверны, и потому...» – Она махнула рукой и опять заплакала. – Я что, сама буду себя спрашивать и сама отвечать? Как дура?

– Миррочка, а давайте так сделаем. Вы будете говорить, а молодой человек, вот, станет просто вынимать шарики с номерами, – сказала рыжая. – Это даже интересно получится. Так и скажем, что он здесь случайно. Он как бы – судьба.

– Судьба? – переспросила черная растерянно. Она устала на меня, потом как-то по-мальчишески шмыгнула носом. – А он что, так и останется в этой куртке?

...

«Номер четыре! Проходите на сцену! Дайте-ка нам на вас взглянуть, четверочка!» – голос Мирры, все еще осипший, усиленный микрофоном, едва не сбивал меня с ног. Вначале я, словно во сне, вынимал из огромной бутафорской шляпы шарики с номерами, но потом взбодрился. Обед, которым меня от души накормили в подсобке при кухне, превратился в пульсирующую энергию. Я уже давно заметил: стоит хорошо поесть, как туман болезненной странности, окутывающий мой мир, улетучивается без следа. Разве все не происходит само собой, так почему бы не расслабиться и не поддаться потоку?

Я представил себе, как сюда случайно заходит кто-то из моих бывших коллег по ивент-агентству и ему открывается печальное и поучительное зрелище. Парень, который два года назад организовывал самый элитарный из израильских фестивалей, теперь проводит клоунскую лотерею на чьем-то юбилее. Мысль об этом привела меня в восторг. Я с трудом сдерживался, чтобы не выхватить микрофон и самому не за-

говорить как ярмарочный зазывала. На сцену один за другим выходили стариканы и уходили в легком недоумении, вертя в руках плюшевые игрушки, веера и крохотные гитары. Видимо, накануне сюда перекочевал весь ассортимент китайского магазина. И все-таки я знал, что энергия, которая, казалось, бьется в кончики пальцев, может иссякнуть в любой момент, надо было немедленно ее использовать.

Только окончился розыгрыш лотереи, я выскользнул из зала. Теперь мой первоначальный план изменился. Раз уж судьба заманила меня в корпус пансионата, то стоит поискать убежище здесь. Нужно всего лишь найти подсобку, где можно было бы спрятаться на ночь. Я прошел по коридору, потом свернул в другой. Эта часть корпуса уже была жилой. Угрюмый вестибюль напоминал гостиничный холл. Что-то тараканье было и в деревянной обшивке стен, и в ужасных картинах, намалеванных коричневой слякотью. В углу стоял автомат с едой, заполненный шоколадками лишь двух видов: красными и желтыми, словно здесь играли две футбольные команды. Я направился вперед по коридору, похожему на интерфейс устаревшей стрелялки. На ковре бесконечно повторялся оранжевый узор, словно компьютер вновь и вновь генерировал одну и ту же кучку сухих листьев.

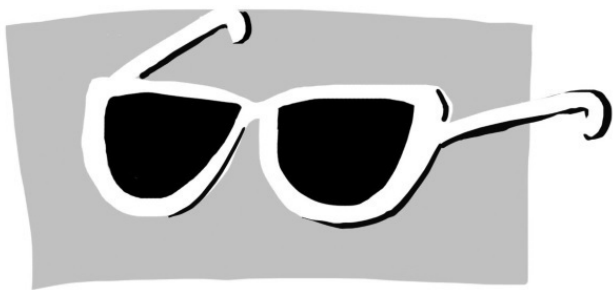
Я шел быстро, надеясь на вдохновение и кураж, которые помогали мне там, в зале, но они уже растаяли без следа. Вдруг за углом послышались шаги, торопливые и молодые, а главное, и это мне очень не понравилось, – неприятно-адми-

нистративные. Что говорить, если меня спросят, кого я ищу? Паника мешала мне придумать легенду. По обе стороны от меня были двери, ведущие в квартиры стариков. Я добежал до одной, которая показалась мне грязноватой и заброшенной. Может, это уже не квартира, а та самая кладовка уборщицы? Я рванул дверь на себя.

Внутри было совсем темно и пахло не как в служебном помещении, но и не как в жилом, чем-то смутно-знакомым, что я не мог вспомнить. Несколько секунд я стоял в темноте крохотной прихожей и прислушивался. Шаги в коридоре тревожили меня больше, чем мысль о том, что у комнаты, скрытой за плотной шторой, возможно, есть хозяин. Наконец шаги снаружи затихли, можно было выходить, но я медлил. Интересно, кто все-таки здесь живет? Я сделал два шажка вперед, к шторе, и попытался осторожно ее отодвинуть, как вдруг она рухнула вместе с карнизом. Алюминиевые кольца запрыгали по полу, и я стоял среди них, не в силах оторвать глаз от старухи, которая сидела в кресле в углу, освещенном настольной лампой. Она была маленькой и хрупкой. Узкое личико, серая волна волос, взмывшая и оцепеневшая от лака – старуха смотрела на меня одновременно бездумно и пытливо. Мне пришло в голову, что такое выражение лица бывает у некоторых цветов. А может, дело было в россыпи пигментных пятен на ее лице и руках, и это они делали старуху похожей на орхидею? Что делать, если сейчас она закричит? Но ведь я могу одним движением смять ее в рябой ком,

смять, как старую газету! Эта мысль напугала меня так, что я застыл. Мне показалось, что если не двигаться и остановить время, то она отменится, словно ее и не было. Последнее из алюминиевых колец подкатилось ко мне, и мы со старухой, словно замороженные, смотрели, как оно звенит и бьется у самого моего ботинка. А потом я бросился вон.

Стелла. Как использовать призрака с максимальной пользой



Кабинет нашей психологини Сарит расположен на втором этаже. Гиблое место, ноги бы моей там не было, если бы не необходимость в снотворном. Все-таки получить его тут же, в аптеке, не выходя из здания, – большой соблазн.

Всю вчерашнюю ночь я не могла заснуть. Вначале собиралась пойти на юбилей, на который была приглашена по чистой случайности. Это был почти междусобойчик, «русская фракция» – как называют их здесь, но я стараюсь ходить на такие праздники; это для меня что-то вроде упражнений. Я оделась и накрутила, но вдруг почувствовала, что не могу заставить себя выйти. Тогда я уселась в кресло и просидела там весь вечер. Заснуть все равно не получилось бы: музы-

ка и вопли ведущей, проводившей какую-то лотерею, сотрясали наш корпус. Я уселась было писать Голди о проблемах звукоизоляции в здании, но пол и стены дрожали, и я почувствовала себя ковбоем, который пытается усидеть на норовистом бычке – пришлось отложить ручку. Шум и тишина – с ними все не так просто, как кажется. Многие из моих соседей по «Чемпиону» пришли жить сюда как раз для того, чтобы слышать чье-то покашливание за стенкой и голоса в коридоре.

– Заходите, Стелла! – Сарит что-то пишет, склонившись над журналом. – Так-так, какое у нас сегодня число? – Ее ручка на миг замирает над листом.

– Второе февраля две тысячи десятого года, вторник. Впрочем, дата прямо перед вами, на экране.

Сарит поднимает на меня глаза и улыбается. Она признает, что я распознала ее уловку. Сарит спрашивает дату, чтобы проверить, в уме ли ее очередной престарелый пациент. Лично мне кажется, что это довольно зыбкий критерий вменяемости, ну да ладно, ее дело.

Теперь она отмечает что-то в компьютере, а я рассматриваю россыпь мелких сувениров на ближней полке. Почему-то они напоминают мне сельское кладбище, увиденное когда-то в Румынии. В тех подновленных к весне могилах было что-то игрушечное. Иногда мне хочется спросить Сарит, зачем ей маятник без часов, который раскачивается в стеклянном цилиндре, словно донорское сердце, готовое к

пересадке, или штопор в виде грека, танцующего сиртаки, но я стараюсь просто скользить по ним взглядом, ни на чем не останавливаясь.

– Ну и как у вас дела? – улыбается она, пересаживаясь в кресло.

Мне совершенно не о чем говорить с Сарит. Все, что мне от нее нужно, это снотворное. Вот уже месяц прошел, как я пью голубые шарики, а толку от них никакого.

– Мне нужно другое снотворное, посильнее, – говорю я.

– Неужели «Сонсон» совсем не помогает?

– Помогает, но недостаточно. Я долго ворочаюсь.

– Вы просто медленно засыпаете, но вы можете вставать чуть попозже.

Я начинаю злиться. Ночь – это единственное, что у меня есть. Время свободы, когда мои суставы не скрючены, и у меня ничего не болит. Время бесценного телесного благополучия. Мне жаль каждой секунды, что отбирает у меня бессонница.

– А сны вы видите?

Разумеется, вижу, но разговоры о снах навевают на меня скуку. Не могу поверить, что господ Фрейд и Юнг все еще в моде. Возможно, еще пара лет – и все эти теории об архетипах и компенсациях будут отменены и в конце концов попадут за стекло музейных витрин. Обветшалые экспонаты – они будут выглядеть так же наивно, как перстни с серебряным когтем для кровопускания, в которое так истово вери-

ли средневековые врачи. К счастью, Сарит сразу переходит к делу:

– Поменять «Сонсон»? Но ведь еще и месяца не прошло, Стелла. Ваш организм должен привыкнуть. Видите ли, я против наращивания оборотов. Думаю, разумней будет подождать.

Я не хочу ждать, но просить Сарит бесполезно. Она уже приняла решение, а значит, мне предстоит бессонные метания по нагретой постели. Я с удовольствием засела бы сейчас за отчет для Голди и написала бы целую главу о произволе здешних психологов, об их косности и бюрократизме, но я не сумасшедшая. Бессмысленно жаловаться в отчете на Сарит. В таких местах, как «Чемпион», психологи – как рыбки в аквариуме: неизменны и безлики: исчезнет одна – тут же появится другая.

Но на этот раз я подготовилась к беседе и продумала, что делать, если она откажется поменять таблетки. Здесь, в пансионате, многие читают вкладыши, как утренние газеты, и я не исключение. Я внимательно прочла инструкцию к «Сонсону» – все, что касается побочных явлений. Там написано, что в отдельных случаях препарат может вызвать галлюцинации. Теперь у меня есть козырь.

– Я бы подождала, Сарит, – говорю я со всей учтивостью, на которую способна, – но знаете, этот «Сонсон» как-то странно действует. У меня от него, кажется, в глазах рябит.

Я нарочно даю неточные определения, чтобы ее не насто-

рожил язык медицинских терминов.

– Сегодня утром, – продолжаю я, – открываю глаза, а все окно словно в червячках. (По моим расчетам, Сарит должна сделать стойку на слово «червячки», ведь они – классика галлюцинаций. Но она, кажется, не впечатлена. Придется пускать в ход тяжелую артиллерию.) – К тому же я стала очень раздражительна из-за того, что не высыпаюсь. Посетители меня утомляют.

– Какие еще посетители, Стелла? (Ну наконец-то она забеспокоилась.)

– Разные люди. Вчера вот, например, зашел незнакомый юноша.

– А как он выглядел?

– Легкая куртка. Джинсы... Но он возник в комнате так внезапно. Я испугалась. (Увы, я не знаю, должна ли качественная галлюцинация сопровождаться шумом и стоит ли упоминать о сорванной гардине. Может быть, видения, наоборот, – беззвучные и плавные?)

– Видимо, этот юноша пришел кого-то навестить и ошибся дверью, – говорит Сарит, любезно улыбаясь. – Поверьте, Стелла, беспокоиться не стоит. «Чемпион» хорошо охраняется. – По тонкой пленке гериатрической лжи в глазах Сарит я вижу, что она проглотила наживку.

– Знаете, давайте и в самом деле откажемся от «Сонсона», – вдруг говорит она бодро, – попробуем перейти на «Нифил». – Сарит вновь садится к столу и принимается высту-

кивать рецепт на компьютере.

«Конечно давай. Умница!» – думаю я, глядя, как она склоняется к принтеру за рецептом. Я уже готова уйти, но Сарит не спешит меня отпускать.

– Скажите, Стелла, а этот молодой человек... Он что-то говорил? Объяснял, что ему нужно?

– Да нет, он, кажется, очень растерялся. А еще мне показалось... Я ведь могу быть с вами откровенной, вы не сочтите меня за ненормальную, не так ли? Мне показалось, что в какой-то момент он был готов меня убить.

Мага. Будни агента Киви



Зив позвонил через неделю.

– Кажется, я что-то нашел. Скажи только, у тебя ведь есть опыт преподавания?

– Конечно есть, я каждое лето преподаю детям.

– А что, если это будут не дети, а старики? Нужен кто-то, кто будет вести компьютерные курсы.

– Можно попробовать. А где это?

– Есть такой пансионат «Золотой чемпион», слышала? Я знаком с тамошним руководством. «Чемпион» относится к моему отделению. Относился, – поправился Зив и смутился. – В общем, я с ними поговорил. Тебя приглашают на собеседование.

...

Мага видела пансионат лишь издали, когда проходила там или проезжала. До собеседования оставалось еще два дня, но ей почему-то захотелось уже сейчас рассмотреть этот архитектурный курьез повнимательнее. Она решила изменить обычный маршрут утренней пробежки, вспомнив, что пансионат окружает чудесный парк, почему бы ей не побегать там?

Мага добежала до того места, где открывался вид на долину, и остановилась на самом верхнем витке серпантина, ведущего к «Чемпиону». Корпуса пансионата были видны отсюда как на ладони. Интересно, кому пришло в голову поселить здесь стариков? Она наблюдала, как к одному из корпусов подруливает мебельный фургон. Вот он въехал на стоянку, освещенную утренним солнцем, вот из машины вышел грузчик, затем – другой. Они все не начинали работать и были похожи на актеров, которые разминаются перед спектаклем, прогуливаясь по сцене. Мага любила смотреть на людей, когда они вот такие – крошечные. Из фургона вышел третий человек. Он двигался иначе, чем первые два: рывками, как аквариумная рыбка, которая тычется носом в декоративную скалу и тут же отплывает назад. Он отошел от фургона, снова подошел, отскочил – круглый и легкий. Так двигался единственный человек в этом городе: ее отец.

...

– Вы посылаете меня туда, чтобы помирить с папочкой? –

пока она бежала от парка обратно, к дому, в голове сложилось много едких фраз, которые она скажет Зиву, но сейчас всплыла эта.

– Тебя? Помирить? С Китом? С чего ты взяла? – голос Зива в трубке был неподдельно удивленным.

– Отец переселяется в этот ваш «Отель десять негритят».

– Кит переезжает в «Чемпион»? Я не знал. Правда, не знал. А что, ему больше жить негде?

Мага могла лишь предполагать, какие финансовые перипетии начинались всякий раз, когда очередная женушка подавала на развод. Ангел мщения с серебряными веками, над которыми подрагивают черные страусовые перья, она представлялась ей, окруженная адвокатами и возникающая с первым ударом театрального грома. Видение, кажется, посетило и Зива. Они помолчали.

– Простите, – сказала Мага. – Просто поверить не могла, что бывают такие совпадения.

– Ладно уж, я понимаю. И хочу заодно кое в чем признать-ся. Есть причины, по которым мне хотелось бы, чтобы ты оказалась в «Чемпионе». Давай-ка встретимся, и я объясню.

...

– Да уж, не знал, что Кит вселяется туда, – сказал Зив, когда они уселись за столик в кафе. – Как я могу заставлять тебя с ним мириться, если я сам с ним не в контакте?

Не в контакте? Мага не удивилась. В последние годы Кит успел дать несколько больших интервью, в которых бодро

рассуждал о политике и наговорил такую кучу эксцентричной взаимоисключающей ерунды, что многие из друзей молодости перестали с ним здороваться.

– Так что за тайные причины, о которых вы говорили?

– Тут вот какое дело. – Зив дождался, пока официантка отойдет от их столика. – Хотя нет.... Знаешь что, скажи вначале, что ты думаешь о «Чемпионе»? Если уж ты была там сегодня – поделись впечатлением. Как он тебе, на свежий взгляд?

Мага пожимает плечами:

– Все эти заросли, парк... Таких зданий немного: вроде не так уж далеко от центра, а стоит особняком.

– Это точно, – кивает Зив. – Охранять такое здание – та еще головная боль. Его же можно захватить, как крепость. Глупая была затея, устраивать там гостиницу для дипломатов.

– Каких еще дипломатов?

– Как, ты не знала? Корпуса строились как гостиничный комплекс для нескольких посольств, но потом, после того как стало модно захватывать самолеты и гостиницы с большим числом заложников, наши резко раздумали размещать посольские семьи в одном месте. Пытались сделать из «Чемпиона» просто гостиницу, но и это не пошло, не знаю, кстати, почему. И тогда уже додумались устроить там жилой комплекс для стариков. Тихо, удобные дорожки в парке, хорошие спуски. В общем, большие квартиры перестроили в од-

нокомнатные. Дикие они, правда, получились. Такая уж мода была в архитектуре, а старикам отдуваться: у кого-то стена наклонная, у кого-то окно круглое, вот у пенсионеров крыша и едет раньше времени. Странное, вообще-то, место.

Зив замолчал. Мага ждала.

– Хочу рассказать тебе одну историю, и ты поймешь, почему я делюсь этим с тобой, а не с кем-нибудь другим. Это касается одной давней дружбы: нашей с твоим отцом и еще с одним парнем. Он был архитектор, его звали Герц.

Даниэль. Кит и Конусы



Здесь была даже техническая раковина. Пустив воду тонкой струйкой, чтобы не шуметь, я умылся и помыл наконец сальные волосы раствором для мытья полов с лавандовым запахом. Я неплохо выпался в подсобке. Нашел ее сразу же, как только сбежал от той изумленной бабки. В шкафу нашлась целая упаковка новых тряпок, вчера я разложил их на полу. Места хватило как раз, чтобы лечь, касаясь ногами двери. Одеялом мне послужил кусок одноразовой скатерти, который я отмотал от огромного рулона уже среди ночи, когда замерз. Наутро оказалось, что она красная с золотыми звездами.

Теперь можно было бы и выйти – я умирал от голода. Если не роскошествовать, то на еду мне должно было пока хва-

тать. Но я побоялся отправиться в продуктовый прямо сейчас: нужно быть осторожным. Было все еще слишком рано. Лучше бы подождать, пока утро войдет в силу, и появятся посторонние: посетители и посыльные, – тогда можно будет преспокойно пройти мимо охранника к выходу. Уборщики могли прийти с минуты на минуту, поэтому я тихонько перешел из подсобки в закуток рядом с пожарной лестницей и осторожно выглянул в окно. У корпуса стоял грузовик, похожий на перевозку мебели. Его как раз начали разгружать: в вестибюле были слышны голоса рабочих. Мне повезло: суета началась рано, и не нужно было больше ждать – я мог смело спускаться. Я вышел в вестибюль, оттуда во двор – никто меня не остановил. Не меняя темпа, я обошел грузовик и чуть не налетел на человека, следящего за разгрузкой. Я не поверил своим глазам: передо мной стоял Кит, словно перенесенный сюда, на автостоянку, из прошлого. Непонятно было, помнит ли он меня, узнает или нет. Я решил на всякий случай кивнуть ему и идти дальше, как вдруг увидел, что он улыбается и подмигивает.

«Переезжать нужно ночью», – объявил он так естественно, словно мы продолжали давний разговор. – Видел это позорище? – Он кивнул на ящики, которые уже выгрузили из контейнера. В цитадели из картонных коробок не было ничего позорного. Наоборот: все они были аккуратно запечатаны и снабжены логотипом фирмы перевозок – это выглядело даже весьма стильно. Но я почему-то сразу понял, что он хо-

тел сказать. (Наверное, потому что у Кита всегда был удивительный дар: напрямую, без обиняков, обращаться именно к своему зрителю.) И так же спокойно, словно говорил со старым другом, он продолжал: «Видел? Вот она, человеческая жизнь. Вот такой ширины – вот такой вышины! Куб. Физический объект. Ты учил физику?» Он смотрел на меня приветливо, но я понял, что он меня не узнает. Я учился на литературоведческом, но когда-то брал у Кита курс сценарного мастерства. Разумеется, он меня не помнил и сейчас обращался ко мне просто как к прохожему, условному студенту, хотя университет я давно закончил.

Встретить его именно сейчас было невероятной удачей. Может, попросить, чтобы он помог мне с работой? Но как к нему обратиться? Напомнить, что я бывший его студент, или рассказать о том, что я был в команде организаторов Фестиваля? С тех пор как я у него учился, он успел снять еще пару фильмов, еще раз жениться, вляпаться в историю с наркотиками и вновь развестись.

...

Кит руководил разгрузкой весьма бодро. За время, что я его не видел, он здорово растолстел, но двигался плавно, с комичной важностью, как плывет, касаясь тротуара, сбежавший с вечеринки розовый воздушный шарик. Он подбежал было к рабочему, выгружающему из кузова тяжелый ящик, но не успел: тот с размаху опустил ящик на асфальт.

– Давайте-давайте, швыряйте колонки, я себе новые куп-

лю! – Кит страдальчески закатил глаза, призывая меня в свидетели, потом схватился за ящик сам. Это был мой шанс: ему, похоже, нужен был и помощник, и зритель.

– Давайте я это понесу, я умею обращаться с техникой. – Кит взглянул на меня уже повнимательнее. Как и все знаменитые люди, он пытался понять узнаю` я его или нет, и я решил не скрывать, что узнал. – Не поднимайте это сами, ящик слишком тяжелый, и, кроме того, моя бабушка не простит, если не возьму у вас автограф.

Кит усмехнулся и передал мне ящик.

Ему и в самом деле не стоило таскать тяжести, пару лет назад он чуть не умер. Он тогда пробыл в коме несколько недель. Газеты публиковали едва ли не ежедневные сводки о его состоянии. Последняя жена регулярно отчитывалась о монологах, которые произносила над постелью больного. Но он не возвращался, и близкие все искали, чем бы приманить его из глубины. Постойте, а что он еще любит? Может, попробовать музыку? Все знали, что Кит обожает оперу. Но до музыки не дошло. Кто-то принес в палату горячую пиццу, и безжизненная груда плоти, опутанная трубками и проводами, всколыхнулась. Вот так вот все оказалось просто. Пицца, а вовсе не любимая лунная тарантелла! Газетчики рыскали, желая выяснить, откуда именно пришло исцеление, и сразу несколько самых наглых из владельцев пиццерий попытались назвать свои забегаловки его именем. А он уже опять был на экране. Пожимал руки, улыбался, затянутый во фрак,

выплывал на сцену на церемониях награждения. Не потому ли Киту так стыдно сейчас за свои ящики, что он помнит тишину, которая окружала его тогда в больнице, пока у него не было ничего, даже собственного тела? Но чего именно он стыдится теперь? Того, что башня из ящиков слишком велика или оскорбительно мала? Или того, что она вообще существует?

Я перенес в его пустую комнату музыкальный центр и компьютер, а когда вышел из корпуса, он уже махал мне, как старому приятелю, и доставал из кармана сигареты. Мы присели на бордюр. Я лихорадочно прикидывал, как бы завести разговор о работе. Никогда у меня не получались такие вещи, а время, между тем, уходило. Еще несколько минут, и роль случайного свидетеля, отведенная мне Китом, закончится. Чао, эпизодический персонаж, ты был славным парнем, а теперь вали из кадра.

– Чудно́е здание, – сказал я, указывая на корпус пансионата.

– Ох, и не говори. А знал бы ты, как это все проектировалось!

Ура, наш разговор не сворачивался, Киту явно хотелось потрындеть. Я изобразил учтивое любопытство. Буду слушать, сколько понадобится, даже если сдохну от голода.

– Архитектор такой был, Герц, – продолжил Кит. – Он давно умер. Мы дружили, так что макет этого здания я в руках держал. Можешь себе представить? Но вначале там бы-

ла совсем другая идея: конусы. Все получилось, когда Шоши села на тот макет.

– Как села?

– С треском, вот как! – Кит засмеялся и затрясся, как раздолбанная телефонная будка, в которую откуда-то позвонили. – Мы с Герцем были тогда совсем молодые, вместе снимали квартиру, – вновь заговорил он. – В старом доме, арабская застройка. Одна огромная комната. Ну как огромная – высокая. Почти в два этажа, зимой было не протопить. А летом хорошо, летом никакой жары. Мебели у нас почти не было. Герцу так нравилось, он иначе не мог сосредоточиться. Говорил: в доме должны быть только стены, пол и потолок. Я спрашиваю: «А дверь?» – «Нет, – говорит, – дверь – это уже мебель».

Кит замолчал. Мы курили и наблюдали за тем, как монолит Китовой жизни постепенно перетекает в здание.

– Ну, матрацы-то у нас, конечно, имелись, – продолжал он, встрепенувшись. – Вернее, старые тюфяки прямо на полу. Так вот, приходит ко мне эта шлюха Шоши. Она была злющая. Мощная такая деваха, а волосы – знаешь, такие – черный дым, и колючие, как сахарная вата. И пахли так же – горелым и сладким. И не без закидонов притом. Не могла ничего в грязной комнате. Если видит, что грязно, – хватается, что под руку попадется – наволочку, рубашку новую, представь, – ей не важно – два часа ночи, четыре, – начинает пыль вытирать. Ну вот, пришла она как-то. Руки в боки: «Развели

тут балаган!» Я понимаю, что лучше с ней не препираться, убрал только подальше все ценное из одежды. В общем, Шоши сметает мусор в кучу, я ей помогаю, чтобы не злить. «А теперь дидактический перекур, – говорит (это она у одного профессора набралась таких словечек, любила блеснуть). – Принеси-ка мне шипучку с сиропом, мамми», – и как плюхнется жопой на матрац. А там макет Герца сохнет. Треск того картона до сих пор помню.

– А Герц?

– А Герц пришел к ночи. Шоши к тому времени уже смылась, так что отвечать пришлось мне одному. Я вышел на улицу его встречать. Думаю: на людях он меня не убьет хотя бы. Говорю: «Ты только не волнуйся, Герц, дружище. Так, мол, и так. Давай я все почию. Скажи мне только, что куда, а я хоть всю ночь буду клеить». Герц едва дослушал и бегом к нам наверх. Я выждал минут десять, чтобы дать ему остыть. Поднимаюсь к нам, захожу и дверь оставляю открытой, чтобы убежать, если этот псих на меня накинется, – все-таки он столько вечеров на этот чертов макет угробил. Захожу, а Герц смотрит на сломанный макет и улыбается. «Ну и жопа, – говорит, – у нашей Шоши! Я всегда в нее верил». И преспокойно садится клеить все заново.

Кит достал новую сигарету. Теперь мы молча следили за разгрузкой. Крытый кузов грузовика, еще недавно заполненный ящиками, опустел уже на треть. Мне пришло в голову, что он как раз размером с небольшую комнату. Сколь-

ко квартир вмещается за день в это небольшое пространство? «Да какая разница! Что со мной будет? Где мне теперь жить?» – зазвучал у меня в голове тоскливый голос, который почти не смолкал со вчерашнего дня.

Кит тоже сидел задумавшись. Я отчетливо понял, что он болтает со мной, чтобы подольше оставаться здесь, на улице. Ему страшно входить в свою новую комнату, и он хочет оттянуть этот момент настолько, насколько получится.

– После этого Герц работал еще несколько месяцев, – продолжал он. – Хмырь один дал ему место в своей автомастерской, так что макет он доделал там, а у нас в комнате только чертил. Работал он теперь только по ночам, так что мы не виделись почти. Встану, бывало, утром и вижу на полу лишь чашки и пепельницы, как кратеры кофейные и табачные. Так она выглядела, планета Герца, на которую он улетал по ночам. Потом уже я увидел, как именно он переделал свой проект. От прошлой задумки не осталось и следа. Конусов не осталось. Теперь это можно было скорее назвать «Комки». Это ведь скомканная бумага, видишь. – Кит указал на корпус у меня за спиной. – А знаешь, откуда этот комок сюда прикатился?

– Нет, – я помотал головой.

– Герц мне рассказывал, как когда-то учился рисовать у одного русского. Так этот его учитель как-то раз решил, что Герц чересчур зазнался, и дал ему задание: нарисовать комок бумаги. То есть нет, все было не так. Он, этот психо-

ванный чувак, просто схватил кусок ватмана, скомкал его и запустил им в Герца. Герц говорил мне, что тот, кто сумеет хорошо нарисовать скомканный лист, сумеет все, так что я лишь увидел эти корпуса-комки – сразу понял, что Герц отвечает на вызов. И вот, видишь, построили! – Кит так и светился, словно это он спроектировал «Чемпион». – Здесь должен был быть гостиничный центр для иностранных делегаций, которые будут к нам приезжать. Так все легко пошло у Герца с этим проектом: быстро утвердили, и уже в 73-м году, кажется, закончили строить. А ведь ему всего тридцать пять было.

– А вы так и жили по-прежнему в той комнате?

– Нет, конечно. У обоих деньги пошли, сняли что-то каждый себе. Другой бы сидел и работал, а он... Он, в общем-то, и работал, просто по-своему. Все пытался как-то почувствовать город. Да пожалуйста, кто мешает – выходи на улицу, чувствуй на здоровье. Нет, ему мало. То уши, бывает, заткнет, так, что ничего не слышит и ходит по улицам в своей космической тишине, пока его не сбивает несчастный бедолага на мопеде. То станет у стены, распластается по камню, как ящерица, и выгорает под солнцем. Очень любил камень. Стал ходить на каменоломню, говорил, там все начинается, настройка оркестра. Ты был на каменоломне? Там же дикий грохот! Он весь белый ходил и счастливый, от того, что купается в этой белой пыли, как воробей.

– А как Герц умер? – спросил я.

– Подсел на героин. Все у меня на глазах происходило, а что я мог сделать? Если уж на то пошло, женщина его могла, наверное, больше, чем я. Всегда так кажется, когда у друга женщина. Она тогда у него появилась, англичанка: Зои, певица.

Кит выпустил дым и смотрел на сигарету в своей руке с легким недоумением, как смотрят на самокрутку с дурью. Старая привычка. Я и не сомневался, что в одном из его ящичков в «Чемпион» всплывает сейчас шкатулка с травой.

– Конечно, все смолили, – сказал вдруг Кит, словно отвечая мне. – И я, и Герц, и его шикса Зои. Но Герц-то на этом не остановился, двинулся дальше, к героину, и тогда она от него ушла.

Как-то раз звонит мне Герц среди ночи, просит приехать. Приехал к нему, а его трясет. Говорит, что трава ему как тоннель пробила, и он четко видит, что в чертежах ошибка. Что, мол, где-то там, в проекте, есть неучтенное пространство, он о нем вроде как забыл. А строительство уже развернулось вовсю. Я говорю: «Герц, ты в своем уме вообще? Ладно ты, дурья башка, мог бы и забыть или недосчитать чего. Ну так инженеры-то на что?» Инженеров на проекте было сразу несколько, опытные мужики, они со стройки не вылезали. Но Герц знай твердит свое, про ошибку, и успокоился, только когда я его посадил в машину и повез сюда. А здесь были тогда лишь старые террасы, да оливы, и внизу эта вот стройка. Ни электричества, ничего. Знаешь, какое небо за

городом, когда ему не мешают фонари? Как серый шелк. И ветер нежный, горячий, словно отглаженным шелком по лицу. Герц сразу очухался. Посидели, помолчали, да и поехали обратно.

Я вдруг представил себе, что эти двое, Кит и Герц, могли сидеть тогда на этом самом месте, где сейчас сидим мы. Видимо, тогда только строили первый корпус, и не было и намека на автомобильную стоянку.

– А больше он про ту ошибку не говорил? – спросил я.

– Вначале мне показалось – успокоился. Но через пару лет, когда он уже глубоко сидел, опять про нее вспомнил. Как начнется отходняк, так и твердит про ошибку. Он называл это «пузырек». Я вначале не понял, что за пузырек, думал, он боится, что ему воздух в вену попадет. Он вен боялся, всего, что происходит в венах. Катетеры, капельницы – даже слышать про это не мог. Потому и не кололся никогда. Но если человек хочет себя угробить, то найдет способ. Подогревал что-то, глотал эту жижу, нюхал всякое дешевое дерьмо, пока не донюхался до первой больницы. Я тогда пришел его навестить. Смотрю, он капельницами и катетерами опутан, как священное дерево талисманами, но ничего, терпит. Я наклонился к нему, а он узнал меня и опять твердит про тот забытый воздух. Я его спрашиваю: «Какой воздух? Где? В капельнице, в шприце?» А он говорит: «Да нет. Там, в гостинице, пузырек. Пустое пространство». «Ну и ладно! – говорю ему. – Ну допустим, что с того? Здание от этого не

рухнет». Успокаиваю его, а он уже спит. И с тех пор пошло: как ломка, так и говорит про пузырек. Достал он меня тогда, честно говоря.

Кит вдруг замолчал. Он давно докурил и теперь крутил окурок в пальцах, словно тренировал ловкость рук для карточных фокусов. Он встал и потянулся:

– Заболтался я. И сигареты, гляди-ка, кончились, – у него был напряженный насмешливый голос человека, который жалеет, что сказал слишком много. – Не знаешь, где здесь киоск?

Я встал так резко, что в глазах потемнело, – все-таки голод давал о себе знать. Я не мог ждать, пока темнота рассеется, и стал говорить сквозь эту клубящуюся завесу и звон в ушах, который делал мой голос странным.

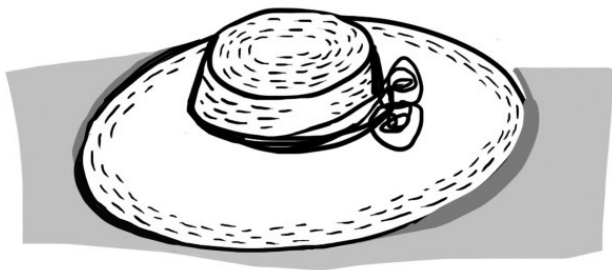
– Киоск тут близко, сразу за парком, там газеты и сигареты. Через дорогу торговый центр. Направо лавка: овощи и фрукты. Остальное – у меня. Первоклассная трава без химикатов. Не придется искать нового дилера или запасаться впрок. У вас уже была история с полицией, вам лучше не держать запасы у себя. А я гарантирую регулярные поставки. Никто теперь не сможет вас подставить, пусть хоть всю квартиру перероют.

Кит уставился на меня, разинув рот. Затем его искреннее удивление сменилось наигранным: он шутовски поднял брови и улыбнулся – ему нужно было еще пару секунд, чтобы все взвесить.

– Ну и сколько ты берешь?

– Нисколько. Не деньгами. Мне нужны те неучтенные метры в здании. Мне нужен Пузырек.

Стелла. «Сольферино»



– Как всегда? – спрашивает маникюрша, протягивая руку к полочке с лаками. Она уже помнит мои предпочтения.

– Да, как всегда. Сольферино. – Я в последнее время полюбила этот оттенок: ярко-красный, самый красный из всех возможных.

Протягивая руку маникюрше, я чувствую себя так, словно сую ее в пасть крокодилу. Что будет, если она заметит? Но это напряжение, длящееся все время, пока моя рука освещена яркой лампой, мне необходимо, как наркотик.

Девушка ничего не замечает. Она немного рассеянна, как все туповатые люди. Как полицейские, которые могут задержать тебя в любую секунду, как чиновники, которые смотрят на твой паспорт, устало щурясь, – этот рассеянный взгляд становится в один момент твердым, как дуло между лопа-

ток: «Простите, позвольте взглянуть на ваши документы еще раз». Моя рука, освещенная косметической лампой, вот-вот начнет мелко дрожать, а это совершенно недопустимо. И тут на помощь мне приходит, как ни странно, клоун Зобак. Я вспоминаю одну из его лекций, где он учил бороться с паническими атаками, направляя в разные места тела покой и свет. Я убеждаю собственные пальцы в том, что буду любить их вечно, – хорошо, что никто не слышит этот беззвучный бред.

Спустя четверть часа я смотрю на свою кисть – она похожа на большую пеструю морскую звезду, украшенную маникюром.

– Очень красиво, красивая рука, – говорит маникюрша. Мне хочется возразить, что красивая рука – это что-то другое. Красивые руки были у моей матери. Они мягко светились, как зимний день сквозь окно, заклеенное калькой. Иногда я перехватывала чей-то взгляд, направленный на маму. Особенно запомнился один мальчик, он во все глаза пялился на ее руки, и я поняла, что он мучительно бьется над загадкой этого мягкого свечения. «Всегда будут рождаться люди, чья кожа по-особому отражает свет», – вспомнились мне слова из какого-то рассказа про театр. Произнеси я эти слова вслух, утешили бы они того мальчика?

Я спохватываюсь, что уже пару секунд разглядываю свою кисть, косметички улыбаются, а знакомая мне девица – студентка киношколы – снимает. Она затеяла какой-то доку-

ментальный проект, шастает со своей камерой, где ей взду-
мается, и ни у кого не хватает духу сообщить ей, что здесь,
в общем-то, приватное пространство.

Иногда я вижу, как она сидит на газоне в компании дру-
зей-студентов, показывает отснятый материал и комменти-
рует, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Пред-
полагаю, что там, в камере, – хроники «Чемпиона»: трога-
тельный рассказ о старости, в котором стерва-Стелла будет
изображать выжившую из ума кинодиву. Когда она снимает,
вот как сейчас, я словно слышу лязг монтажных ножниц в ее
киношной головке и злюсь опять, конечно, злюсь. «Хочешь
сделать кино о стариках? Попробуй для начала рассказать о
знакомом старике без улыбки, – хочу я сказать ей. – И не ма-
ши так руками. А лучше, знаешь что, поезжай куда-нибудь,
сними джунгли, Марианскую впадину – о них и рассказывай
потом своим друзьям». Нет, ничего подобного я, разумеет-
ся, не говорю. Потому что сразу представляю, как она встав-
ляет эту фразу в конец своего фильма. Вот в чем беда: пока
включена камера, все, что бы вы ни сделали, может быть ис-
пользовано против вас. Ну, или как минимум отнято у вас
навсегда. Наверное, поэтому от нее все здесь убегают. Те, кто
еще может убежать.

«Красивая рука», – повторяет дура-маникюрша. В каби-
нете душно, мне чудится, что здесь пахнет пудрой и кровью,
как во время дворцового переворота. Мои новые ногти тоже
улыбаются одинаково и непроницаемо, словно гвардейцы в

алых масках. Увы, пока лак не высох окончательно, я не могу уйти. Девушка со своей камерой заходит справа. Правый профиль у меня – проблемный, к тому же сегодня я красилась наспех. В таких случаях лучше говорить не умолкая. Когда ты говоришь, тебя слушают, а не рассматривают.

– Странные вещи здесь у нас происходят, – говорю я, – слышали, кто-то в «Чемпионе» крадет фотографии? Интересно, кому могли понадобиться стариковские семейные снимки?

– Это кто-то наследство делит. Конкурентов, видать, боится, – говорит маникюрша.

– Ну зачем же сразу делит, – возражает косметичка. – Может, кто-то кого-то ищет. Потерялись во время войны.

Девушка из киношколы вдруг опускает камеру и смотрит на меня. Неужели что-то пронюхала? Может, потому она так ко мне и прилепилась? Нет, в глазах у нее появляется уже знакомое мне выражение. Такое мне не раз приходилось здесь видеть, когда кто-то из молодых являлся навестить родственника. Особенно если чей-то внучок или племянница помогали кому-нибудь старому и беспомощному. «Я хороший, я делаю доброе дело», – написано в такие моменты у них на физиономии.

– Не беспокойтесь, – говорит девушка, краснея. – Со следующей недели во всех коридорах будут установлены камеры. – Она скромно опускает глазки. Когда директриса на собрании говорила про камеры, я сочла это пустым обещани-

ем, но, оказывается, это не так. До меня начинается кое-что доходить. Я вспоминаю, что слышала, как зовут эту студентку: Уриэлла. А еще кто-то говорил, что она родом из очень богатой семьи. Наверняка камеры – дар «Чемпиону». Возможно, она даже выкроила эту сумму из собственных карманных денег и теперь не поедет в Исландию или Новую Зеландию.

– Ах, милая, – говорю я, прижимая свежеекрашенную руку к сердцу. – Это замечательно. Огромное вам спасибо!

Значит, вскоре везде будут развешаны камеры. Надо будет добавить это в письмо Голди. Камеры – это, безусловно, новый уровень безопасности. Я оставляю деньги на мраморной столешнице и выхожу на улицу.

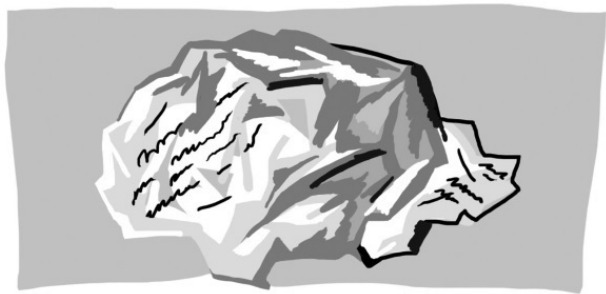
Моя любимая скамья, к счастью, пуста. Я сажусь и прикрываю глаза.

Когда я была маленькой, мама иногда оставляла меня в театральной костюмерной у своей подруги-портнихи. Я играла там прямо на полу. Моей любимой книгой в тот год был потрепанный каталог цветов, неизвестно как оказавшийся в этом бедном маленьком театре, где костюмы шили из старой простыни, а потом красили вручную. Мареновый, кардинал, бисмарк-фуриозо, шарлах – читала мне вслух костюмерша, водя пальцем по красным квадратам. Тогда я больше всего любила шарлах. Я подносила страницу к глазам; казалось, вот-вот смогу рассмотреть там что-то, словно шарлах был воздухом, в котором жил неизвестный мне народ. Я нюхала страницу, но она пахла скучно: лежалым журналом. Загад-

ка цвета оставалась непостижимой. Как же я обрадовалась, когда в соседней комнате, примерной, обнаружила точно такие цветные квадраты, но их можно было пощупать и понюхать. Бледно-лиловый оставлял на руке пыльцу, словно крылья бабочки. Он был слишком сухим и сразу осыпался. А вот зеленовато-золотой оказался жирным и охотно намазывался. Я возила пальцем по квадрату, пока в середине не появилось круглое черное озерцо: дно коробки. Такие же были в соседних отделениях: розовых и бежевых – эти меня не интересовали, в них не было никакой загадки. Но вот красный... Он был на ощупь таким, каким и должен быть, и пятно, которое он оставлял на пальце, было бархатистым, как лепесток шиповника. Я подцепила квадрат ногтем, и он мягко разломился на несколько островов. Один из них упал на стол, превратившись в горку красного порошка, в который так сладко было погружать палец.

Ту коробку с гримом негодующая гримерша отдала маме, потребовав, чтобы она немедленно купила новую. С тех пор игрушки меня не интересовали. У меня были чудесные цветные знамена, можно было выбрать любое, наугад, и получить новое гражданство и новое лицо. И новую судьбу.

Даниэль. Дверь – это уже мебель



Иногда я думаю, что случилось чудо, и Пузырек – вовсе не архитектурный брак, а та самая комната, которую в этом городе, словно сумасшедший каменотес, выдолбило мое отчаяние. Когда я сбежал из больницы, идти мне было некуда, разве что к родителям. Но возвращаться туда, когда тебе за тридцать, казалось невыносимым. Я не жил там уже десять лет, и в моей комнате теперь стоял велотренажер.

Хотя банковская карта и была со мной, денег там оставалось совсем немного, и спускать их на хостел было бы глупо. Да и как бы я устроился туда без документов? Они остались на съемной квартире, а туда возвращаться я тоже не хотел. В тот первый день мне казалось, что меня вот-вот остановит полиция, и я должен буду отвечать на вопросы: кто я такой? Где живу, где работаю?

Но лишь только у меня появилось убежище, как оказалось, что жизнь моя почти устроена, как это ни дико звучит. Надо только перенести сюда траву, я даже присмотрел, где ее можно спрятать. В двух шагах от Пузырька находится что-то вроде свалки бетонных блоков. Ее облюбовали дамы. Днем они греются на солнце, а ближе к ночи прячутся в расщелины этих искусственных скал. Я задумал спрятать траву в металлическую канистру и засунуть в одну из таких расщелин.

«Пузырек» оказался забытым пространством, которое образовалось в хозяйственной части постройки. Пробраться сюда можно было прямо с улицы. Никому не приходило в голову протиснуться в щель между стенами соседних блоков и нырнуть под перекрытие первого этажа. Вход был прикрыт старыми фанерными декорациями, которые хранились здесь, видимо, с незапамятных времен. Первую неделю я потратил на то, чтобы изучить расписание главного завхоза и нескольких рабочих. Кроме них и редких машин, привозивших им что-то по хозяйственным нуждам, в этот угол никто не заглядывал. Сидя в Пузырьке и чутко прислушиваясь, я ненавидел их смех и те небрежные реплики, которыми они обменивались. Когда же они внезапно замолкали, мне казалось, что кто-то из них крадется к моему убежищу, обмениваясь с другими немymi знаками. Я замирал, мне казалось, что вот-вот я буду обнаружен. Но, обвыкшись, я понял,

что это вряд ли произойдет. За это время «Чемпион» словно провернулся в моем сознании и стал передо мной той стороной, с которой он видится этим людям. Получалось, что для них Пузырька как бы не существует: они стремились к другому внутреннему дворику, где удобно было скрываться от начальства.

Я научился мыться в подсобках, отчего стал добродетельно благоухать лавандой (использую мыло для рук, которое хранится там, в канистрах), обзавелся термосом, чашкой и ложкой. Я знаю, когда на аллеях парка безлюдно, а когда не стоит вылезать. Но главное: теперь я не боюсь гулять по городу; я такой же, как и все, мне есть куда вернуться. Вечером я не спешу скользнуть в свою нору, а иду к бетонной свалке. Я взбираюсь наверх, стараясь не задеть скрюченные пальцы арматуры. Даманы, которые там резвятся, постепенно ко мне привыкли; их часовые уже не издают сигнальный свист при моем приближении. Я сижу там, пока не стемнеет, иногда записываю, что в голову придет, а потом иду к себе.

Стены и потолок тут из бетонных плит, которые даже не штукатурили. Когда я прикасаюсь к ним, на ладони остается пыль. Это не домашняя пыль от осыпавшейся человеческой жизни, с ее жиром и копотью. Пыль здесь сухая, степная, из частиц бетона, песка и земли. Я перетащил сюда несколько списанных матов, которые валялись на задворках здешнего спортзала, и теперь не мерзну на полу. Укрываюсь старыми одеялами, взятыми на складе у синагоги. Термос, чашка,

ложка, одеяла – больше у меня ничего нет. Впрочем, неправда, у меня есть блок синей бумаги, который я исписываю синей ручкой. А еще у меня есть время, а это не так-то мало. Прежде чем улечься на маты, я проверяю, прочно ли стоят листы фанеры, прикрывающие вход. «Дверь – это уже мебель», – вспоминаю я слова Герца и улыбаюсь.

...

Страх накидывается на меня перед рассветом. Я просыпаюсь с колотящимся сердцем и лежу в темноте, стараясь глубоко дышать. Почему я здесь? Почему ничего не предпринимаю? Неужели я всю жизнь теперь буду жить вот так, скрываясь как преступник? Я вспоминаю лицо Пчелки на больничной подушке – первое, что увидел тогда, открыв глаза. Мы лежали на соседних койках, и я слышал, как врачи сказали, что теперь он дышит сам. Дождавшись, когда они уйдут, я откинул простыню и встал было, но голова закружилась. Стало ясно, что безопаснее будет, если я проползу эти несколько метров до его кровати. На мне была моя одежда, значит, со мной все обошлось, а вот Пчелка был в больничной распашонке. Я начал подниматься на ноги, используя в качестве опоры его капельницу. Казалось, вот-вот он откроет один глаз и расхохочется. Согласен, стоящее было бы зрелище: сэр Даниэль кряхтит и ползает на карачках. Но он все еще спал, и я наконец встал над его кроватью и увидел его лицо, и, если бы не понимал, что нужно смыться, стоял бы там до сих пор и смотрел. Я не мог вспомнить, были

ли у него прыщи или раздражения от бритья, но точно знал, что еще вчера его лицо было нормальным, человеческим, а не таким... Каким? Умытым? Ясным? А еще, казалось, что ему невозможно теперь навредить. Я смотрел на него долго, понимая, что у меня появилось что-то вроде религии. Если теперь я встречу на улице тех блаженненьких, кто разносит брошюрки и задает для затравки вопросы вроде: «Знаете ли вы, зачем мы живем?» или «Как сделать так, чтобы все были счастливы?», – я скажу: «Конечно, знаю! Нам нужно попытаться добыть вот это». И если они вежливо попросят, чтобы я объяснил им, хотя бы неточно и отдаленно, что я имею в виду, – я произнесу лишь одно слово, да, неточное, но наиболее близкое к тому, что я видел:

«Тишина».

Я забыл, что она у меня когда-то была, и, пока не увидел спящего Пчелку, не понимал, что мне так трудно живется, потому что я уже три года живу без тишины.

Я могу рассказать, что произошло: три года назад умерла Ноа. Это все.

Синим на синем

Ее отец с тех пор полностью изменился. Отсидев шиву², он так и не сбрил бороду и не снял кипу. Наверное, он и от меня ожидал чего-то подобного, он очень удивился, когда я, лишь только закончился срок съема квартиры, немедленно нашел работу в Тель-Авиве и уехал.

Я устроился копирайтером в ивент-агентство, в конце концов, она ведь хотела именно этого: чтобы я придумывал. Она любила меня придумывающим, все подбивала сесть и писать роман, а мне скучно было писать, когда рядом она. Она любила книги, прочла их намного больше, чем я, – плохих и хороших, иногда совсем неожиданных. Рассказала мне как-то, что в отрочестве читала Паустовского в переводе на иврит. Она называла его Пау Стовски, но помнила оттуда все: войну, теплушки, черную оспу. Мой роман был долгосрочным планом, а пока что она постоянно требовала, чтобы я давал всему имена, словно она Бог, а я Адам. «Как называется этот камень?» (Мы валяемся на пляже, и она мешает мне читать.) «Как назовем эту слепенькую машинку?» (Мы тогда купили старый «фольсваген» с подбитой фарой.) «Как называть эту кошку?» (Размахивая пакетом по пути к мусор-

² Семь дней траура, отсчет которых начинается со дня похорон. Во время шивы близкие родственники умершего не выходят из дома и принимают соболезнования приходящих к ним друзей.

ному контейнеру.)

А потом я назвал ее.

У нее была компания друзей еще из гимназии. Они любили ролевые игры, всю эту беготню по лесу с картонными мечами. Когда игры вышли из моды, они изредка, по старой памяти, устраивали сборища где-нибудь за городом. Я оказался там случайно, за компанию, но выбраться из леса было не так-то просто. Приятель, с которым я приехал на машине, переоделся в колдуна и был теперь окружен кольцом юных ведьм. Он избегал моего взгляда, как ребенок, который опасается, что взрослые выдернут его из игры в самый интересный момент. Я скучал и чувствовал себя круглым идиотом, пока мне не подыскивали теплое местечко в средневековой тюрьме, где можно было пересидеть весь этот ужас. Ноа спрыгнула ко мне в яму, где я валялся на дерюгах и разгадывал кроссворд. В руках у нее была бутылка с ослепительно-зеленой жидкостью – это она пыталась сварганить модную тогда «Цокотуху». Бутылку мы отдали незнакомым добродетельным ящерам, чтобы не освобождали нас еще хотя бы часик. Зелье, видимо, на них подействовало: последняя атака под Масольером давно прошумела где-то там, наверху, а нас никто и не думал вызволять. Мы тогда проболтали полночи.

Вскоре мы сняли микроскопическую, но при этом многоэтажную квартирку, состоявшую лишь из белой лестницы и двух прилегающих к ней скошенных пространств. Третий

этаж был представлен крохотным туалетом. Принять душ можно было, только сидя на унитазе. Безумные пропорции нашего жилья очень меня радовали, хотя квартирка стоила прилично. Именно тогда мне впервые показалось, что я перехитрил всех: злобных училок, жлобоватых наших соседей, каких-то условных родственниц-теток, которые словно знали обо всем, что ждет меня в жизни, и не сомневались, что жизнь эта будет именно такой, как они ее себе представляют. Они прикидывали, как я буду белить двушку на проспекте Строителей, а потом застеклять балкон и ходить в один из трех институтов, которые были в нашем городе: в «маш», «мед» или «пед». А я – вот он я – прыгаю по жердочкам в этом вывернутом наизнанку теремке.

Лестница была нашей мебелью: столом и креслами, книжными полками и гладильной доской. Она же была нашими стенами и потолком. Зеркало там повесить было негде. Когда Ноа красилась или причесывалась, она вначале торжественно вручала мне зеркало, а потом отступала на шаг – и тут уже не могла удержаться от смеха. Наверное, я и в самом деле выглядел забавно. «У всех кариатид и атлантов вид либо несчастный, либо коварный», – говорила она. Как-то раз я решил устроить ей сюрприз: купил большое зеркало и придумал-таки, куда его присобачить. «Значит, теперь ты не будешь смотреть, как я крашусь?» «Ну уж нет! – спохватился я (и в самом деле жалко было терять этот ритуал). Я схватил второе зеркало, маленькое, и опустил пониже: – Я всегда

буду тут, чтобы ты могла преспокойно рассмотреть, хорошо ли сидят штаны на попе». Она вдруг расхохоталась. «Ты не заметил разве, что я редко ношу джинсы, и меня не волнует, как они сидят? Но у тебя когда-то была подружка, которая в этом неплохо разбиралась, так ведь? Вы жили вместе, не отпирайся!» Так оно и было, но я не хотел об этом рассказывать. Мне и в голову не приходило, что у женщин такие разные привычки. Я покраснел, но она смеялась так беззаботно, что я вдруг почувствовал, что счастлив несомненно и глубоко именно теперь. За все эти пару месяцев мы и ни разу не поссорились, но сейчас на меня накатило что-то вроде озарения. Я наконец поверил, что все получится. «Мы будем жить легко, – понял я. – Не будет ревности, поджатых губ и недомолвок. Мы будем счастливы». Ноа уже была серьезна – собирала волосы в хвост и закалывала его заколкой.

– Рыжая Йидель, – сказал я вдруг.

– Что-что? Как ты сказал?

– Йидель.

Йидель – так звали мою прабабку. Ее, кстати, прабабушкой не называли, только изредка, когда мама перечисляла всех живых родичей. Обычно ее просто называли по имени. Она гостила у нас две недели.

Мне было восемь, когда я увидел ее впервые. Нас отпустили из школы раньше, потому что умер Черненко. Мама, открывшая дверь, заговорила со мной шепотом. Вначале я решил, что дело в той государственной смерти. Люди на ули-

це, которые мне встречались по пути домой, выглядели такими же: торжественными и притихшими. Но оказалось, что мама говорит тихо вовсе не из-за траура. Она завела меня на кухню и уже там объяснила, что бабушка здесь и что сейчас она спит. Брат пришел из школы еще раньше и теперь сидел в большой комнате и читал книжку, несколько картинно, как мне показалось. Поздоровался он со мной тоже как-то по-новому – чинно. Кажется, начиналась какая-то другая жизнь.

Дверь в спальню была приоткрыта, оттуда раздавался храп. Я подошел поближе и увидел в щель огромную корявую ступню, похожую на рельефные модели материков из кабинета географии. Это был незнакомый материк, с вулканами опухших суставов, вздувшимися синеватыми хребтами вен и растрескавшейся пустыней на подошве. Я разглядывал мозоль на большом пальце – она была желтой и полупрозрачной, как канифоль. Никогда еще не видел, чтобы кожа была такой. И тут я заметил, что по этой ноге ползет прусак. Он полз как раз по той задубевшей коже, наверное, поэтому Йидель его не чувствовала. Я следил, как зачарованный, за тем, как прусак огибает большой палец и ползет уже по ступне – бабушка даже не шевельнулась.

Есть моменты, они могут быть совсем мимолетными, – доли секунды – когда ты словно спускаешься в подвал на одну ступеньку. Ты все еще наверху, лишь на шаг ниже. Лишь чуть-чуть дальше теперь светлый дверной проем за спиной,

чуть приблизилась темнота, чуть ошутимей запах земли, кошек и мерзлой картошки, но ты знаешь: ступить вот так же назад не получится уже никогда.

В нашей квартире появился новый запах: пряный и темный. Вначале я решил, что это просто пахнет еда, которую бабушка привезла нам в подарок: моченый арбуз и штрудель. Арбуз был странный на вкус, словно газированный, а штрудель меня пугал: он был почти черный, с синим изюмом и смуглыми поджаренными орехами. Но еду мы, в конце концов, съели, а запах остался.

Когда прабабушка хотела приласкать меня, то подманивала пальцем, улыбаясь странной улыбкой: сладкой и скорбной одновременно. Теперь я понимаю, что это была еврейская улыбка, а тогда не понимал – ни одна из знакомых мне старух так не улыбалась. Я подходил, и она вкладывала мне в руку пару орехов или железный рубль. Орехи меня возмущали (тоже мне, лакомство), а рубль глубоко озадачивал – я не знал, что с ним делать, и отдавал маме.

В ту зиму у меня появился враг: красномордый мальчишка из соседнего дома. Он возникал на моем пути в школу, всегда неожиданно, а спустя минуту я уже собирал вещи, вытряхнутые в снег из портфеля. Иногда он вначале здоровался со мной, да так весело и простодушно, что я отвечал, надеясь на чудо (могло же ему надоесть меня задирать), а кончалось это все тем же. Как-то раз, в тот самый момент, когда он распотрошил мой портфель, из подъезда вышла его

мамаша. Она прошлась по утрамбованному снегу, брезгливо отодвинув сапогом порванную тетрадь, и сказала мне: «А он такой, он злой, ты его зря не дразни!»

И вот теперь бабушка водила меня в школу. Каждый день я должен был выбирать одно из двух унижений: либо выпотрошенный портфель и шапку, вывалянную в рыхлом мартовском снегу (всего-навсего снег, но почему-то сколько ни стряхивал его, – очиститься от этих позорных пятен было невозможно), либо Йидель, в седовато-синем пальто, потертом, как старая кулиса. Йидель и ее безумные меховые вишенки, прицепленные к старому каракулевому берету. Йидель и ее улыбка, а главное – ее запах.

– Йидель – это что? – тормозила меня Ноа.

– Так звали мою бабу, королеву эльфов.

Как я мог назвать эту девочку Йидель? Может быть, сам того не понимая, я просто надеялся на целительную силу тех первых дней в нашей квартире-лестнице и нарочно притащил сюда темное имя из прошлого? Как самоучка-алхимик, торопясь, кидает в чан медную утварь, в надежде добыть золото, так и я спешил переплавить сразу все позоры моего детства.

«Рыжая Йидель», – Ноа теперь требовала, чтобы я называл ее только так. Мы привыкли к нашему жилью и уже не набивали синяки на лестнице. Хозяин, видимо, ожидал, что мы съедем в первые же недели, и очень удивился, когда мы заявили, что подписываем договор на весь год. Придя к нам

с бумагами, он все медлил, осматривался и, казалось, едва сдерживался, чтобы не заглянуть под кровать в поисках причины нашей готовности платить за такое нелепое жилье. Он бы не нашел ничего, как и я теперь ищу и не нахожу, не могу подобрать этому имени. Где он, золотистый, тягучий раствор, скреплявший те зимние дни так, что они выстраивались один за другим, словно позвонки? Мы боялись это потерять и потому не отходили далеко от дома. Много часов мы провели лежа, обнявшись, на матрасе под лестницей, в дреме и тихих разговорах, наблюдая, как февральское солнце, словно в поисках удачного кадра, выделяет желтым квадратом стул с брошенной одеждой, стопку книг, раскрошенную булку и остатки джема в банке.

Прожив так еще три месяца, я почувствовал, что наша жизнь достаточно прочна и не рассыплется, если мы ненадолго разомкнем объятия. Мама с отчимом уже давно упрекали меня, что я не появляюсь у них. Я поехал туда один. Ноа сказала, что пока съездит к своим, она тоже давно не виделась с родителями.

...

Мама открыла мне дверь, и на меня выплыло кухонное облако, пахнущее выпечкой и корицей. Моя мать верила в корицу. Посторонний не понял бы, в чем тут дело, и приписал бы это увлечению кулинарными передачами. Но я-то помнил все. Помнил, как мама, улыбаясь зло и почти торжествующе, рассказывает нам с братом о том, как отец, за пару

месяцев до ухода, повадился добавлять корицу в кофе. Ей, говорила мама, вначале это новшество даже понравилось, и в этом месте мне становилось нестерпимо ее жаль, потому что я уже слышал эту историю, и не раз. Добавлять корицу в кофе научила отца «та женщина», но мама этого еще не знала и впустила в наш дом чужой злой аромат, как впускают в крепостные ворота бродячего факира – глотателя огня, который ночью подожжет город. Мама опять вышла замуж, потом мы переехали в Израиль, но обида никуда не делась. Я всегда видел ее, как инфракрасная камера – оранжевое пятно.

Вот и сейчас мы, все втроем, сидели за столом, отчим нахваливал пирог, а мне кусок в горло не лез. Вот как это случается каждый раз! Из пирога вместе с коричневым ароматом вылетела история об отце. Сколько я уже таких знал! Я давно мог бы сложить их в единый образ, и пусть он был бы нелеп, как фантастические люди Арчимбольдо, сложенные из овощей или рыб, – он бы существовал. Но в каждом из маминых рассказов, даже самом невинном, всегда был спрятан еще и тайный лазутчик. Его цель: вывернуть наизнанку те несколько жалких воспоминаний, которые у меня есть. Рано или поздно я обнаруживал диверсанта и не верил уже ничему.

Я с трудом досидел до конца чаепития, для приличия посмотрел с ними телевизор несколько минут и объявил, что у меня глаза слипаются. Заснул я и в самом деле мгновенно.

Утром я не сразу понял, где нахожусь, – не хватало при-

вычного косого потолка над головой. Я улыбнулся, подумав, что Ноа, наверное, тоже сейчас лежит на своей подростковой кровати в родительском доме и удивляется нормальности интерьера. Внезапно у меня заколотилось сердце: а вдруг она никуда не уехала, ни к каким родителям, а изменяет мне сейчас в нашей же квартирке под скошенным потолком? Глупости. И все-таки завтрак я отсидел с трудом и вскоре засобиравшись домой.

За время пути я полностью успокоился, и когда подходил к нашему дому, то так радовался, что мне вновь захотелось пережить страх ее измены, теперь уже понарошку. Но стоило лишь представить это, как меня вновь затопил настоящий ужас. Я взбежал по ступенькам, отпер дверь, не позвонив, в суеверной надежде, что именно так, не оставляя себе возможности к отступлению, желая знать всю правду (да, всю, — я уже рассуждал и дышал как обманутый), я вызову жалость судьбы, и измена — я в ней уже почти не сомневался — каким-то чудом будет отменена.

Ноа стояла у самых дверей и распаковывала дорожную сумку, выкладывая из нее заботливо упакованные банки. Мне стало стыдно.

Я так устал, что не мог стоять, и опустился на ступеньки нашей чудо-лестницы.

— Ты что? — Она положила руку мне на волосы. Она делала так впервые, и это мне не понравилось. Почему вдруг именно сейчас? Этот жест показался мне неуклюжим и чужим.

Неужели она принесла его от родителей вместе с домашними консервами, так же, как я принес мамину ревность, меховые вишенки и черный штрудель?

– Что с тобой? – Она все держала руку у меня на макушке, а я вдруг почувствовал, что волосы под ее рукой как-то слишком легко примялись, видимо, я потихоньку лысею, мама всегда с тревогой смотрела на мою макушку, напоминая нам с братом, что отец облысел уже к тридцати. Я вывернулся из-под ее руки:

– Не надо, пожалуйста, не делай так больше никогда, Ноа.

– Ноа?! А почему вдруг Ноа? Разве я не Йидель?

– Не стоит, Ноа, я подумал – то было нехорошее имя.

– Но оно мне нравится, ты говорил, оно эльфийское!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.